
ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

И ВЕСЬ ОН, КАК ЕРИК ПОТАЙНЫЙ...

О прозе Петра Краснова

Петр Краснов с вечной папиросой в левом углу рта, с напряженным цепким взглядом, лишенный богемной вальяжности и расхлябанности, больше похож на прораба или на фермера, занятого своим производством, чем на известного писателя. Впрочем, он и проработал немало лет совхозным агрономом после окончания Оренбургского сельхозинститута. И потому о делах в деревне знает не понаслышке, не из воспоминаний детства, как кое-кто даже из наших видных писателей-деревенщиков. Может быть, лишенный ностальгии и тоски по малой родине и босоногим детстве, он потому и смотрит на жизнь своих земляков жестким реальным взглядом. Про таких, как Петр Краснов, говорят: с ним не забалуешь.

Родился он 12 января 1950 года в селе Ратчино Шарлыкского района Оренбуржья в крестьянской семье. Писать начал еще в детстве, и потому, когда его проза, проза сельского агронома, стала появляться в московских журналах, поехал учиться на Высшие литературные курсы в Москву. Там первоначально и осел.

Но покидать надолго свою неустроенную оренбургскую родину он тоже не пожелал. Вроде бы походил по молодости в любимчиках у высшего литературного начальства. Пригрели его в Москве, за первую книжку "Сашкино поле" дали премию. Его готовили в новую литературную элиту, в которую подбирали послушных провинциалов от сохи, более-менее талантливо владеющих пером. Точно так же хотели приручить Анатолия Буйлова с его "Тигроловами", Александра Плетнева с его "Шахтой". Но каждый раз власти ошибались. Уже и столичной семьей обзавелся Петр Краснов, квартирой в Подмосковье, но душой чувствовал: не его это, не столичный он житель, не столичный писатель. А церемониться и деликатничать он смолodu не умел. Все мосты взорвал, все зарубки на сердце оставил, озлился и на себя, и на покровителей, заманивателей своих. Вернулся на реку Урал, где и написал с великим сердечным облегчением своих великолепных "Высоких жаворонков", где слились воедино и родной дом его, и земля его, и автобиографические по сути записи о деревенской жизни подростка послевоенного поколения, и точно и удивительно тонко подмеченные подробности народной жизни, прямо бунинская радость от общения с природой, многоцветие уральских степных пейзажей и ненасытная жадность освоения еще живого крестьянского языка.

Бегство из Москвы помогло родиться одному из шедевров русской прозы последней половины XX века.

"Сглаженные, старенькие горы первыми встречали его, возвращающегося издалека. Сначала были просто далью, прохладным синим, сизым в воздушной дымке окоемом в жарко остановившейся степи... А потом понемногу выделялись, вставали из торжественно колеблемого марева, вот уже выше

они, ближе, уже выглядывают из-за невысоких косогоров, пологие и теплые, со скупой зеленцой на красноватых, кое-где поразмытых ливнями склонах, уже кругом знакомые места... Доброта солнца, встающего из-за гор этих, была каждодневна, и зло так или иначе проходило, хоть оставляло по себе память...". Радость от общения с родиной даже на время заслоняла проступающее зло.

Удивительно, как близки эти красновокские уральские горы, уловленный им запах степи, с точно таким же видением тех же уральских гор его земляка, раннего Владимира Маканина. И как далеки нынче друг от друга эти талантливые писатели. А ведь и с Петром Красновым, не вырвись он на уральскую свободу из липкой московской паутины, могло произойти нечто подобное, и проза его, подобно поздней маканинской, отдалилась бы и от гор уральских, и от языка классически русского, и от живой и реальной жизни. Пожалуй, из всех талантливых оренбургских писателей, от Юрия Бондарева до Владимира Маканина, от Надежды Кондаковой до Ивана Уханова, он и остался по сей день единственным владельцем сокровищницы живого народного языка, хранящим цельность и неделимость мира своего, писательского и мира народного... Стилист и психолог, знаток оттенков человеческого состояния, он, как ерик потайной, хранит в себе и про себя знание русского национального бытия.

Где-нибудь, в какой-нибудь малой европейской стране он бы давно ценним был как национальное достояние. Увы, в России нынешней свои национальные достояния не очень-то нужны и культуре нашей, и властям нашим. Впрочем, всё это уже навсегда останется с нами, придут иные времена, иные возвращенные национальные знания, иная жажда по сокровенному. Прочтут и Петра Краснова.

"... Когда последний свет станет уходить из моих глаз, верую: и тогда томлящим видением будет так и не открытая мною страна. И не умрет, а замрет её образ во мне, чтобы через годы, может быть, через столетия ожить в другом человеке, и увидит он её моими глазами и заплачет, не сознавая, что плачет он от какого-то озарения, встревожен чьей-то любовью, пронзившей толщу времен и доставшей ту душу, в которой суждено повториться и моей печали и моей радости..." – эти слова Виктора Астафьева как нельзя лучше подходят к творчеству и самого Краснова.

Была и на самом деле в "Высоких жаворонках", как и в лучшей деревенской прозе его старших соратников Виктора Астафьева, Василия Белова, Валентина Распутина, та высокая нотка принадлежности к вечности родной природы и родного народа. Вернувшись из Москвы на родину, избавившись от щемящей, но и обогащающей печали расставания, он вернул себе и все подробности разрушающегося уклада. Живя в душной и жесткой реальности, трудно живописать ушедший "Лад", подобно Василию Белову. Его любовь к родине, к деревне, к народу своему – это любовь зрячего человека, любовь требовательного и прямодушного хозяина своей земли. И потому с "Высокими жаворонками", похоже, закончилась лирическая воспоминательность его ранней прозы. И опять же, подобно Ивану Бунину, трезвый и зоркий, порою беспощадный взгляд прозаика вбирает в себя течение новых окаянных дней, без которых, похоже, никак не обойтись земле русской.

Вот уж точно, и весь-то он, Петр Николаевич Краснов, прозаик Божьей милостью, как ерик потайной. Вроде бы открытый всем ветрам и взглядам, вроде бы простоват и в жизни, и в прозе. Да только в простоте его народной прозы такие бездны и глубины скрываются, о каких, пожалуй, он и сам не всегда догадывается. Ерик потайной, и всё тут. И никакой Даль не поможет. В страницах его прозы, как в панцире далекой-далекой реки Урал, на берегу которой он и живет почти всю свою жизнь, как в простодушных критических видениях наших почвенников, отводящих ему почетное, но панцирное опять же ложе – видеть всё "глазами народа", он-то сам еле брезжится, еле угадывается, вот и кидаются все критики на "невыразимо знакомое, но которое ни разглядеть, ни узнать толком нет времени, нет желания... всё равно всё своё, и ничего в нем ни понять, ни объяснить. Всё своё, ничего нет чужого..." Свое-то и становится чуть ли не главной загадкой его прозы, ибо ни примеров для подражания, ни умиления перед народными героями сегодняшних дней в книгах Петра Краснова не найдете. "Лишь эта тьма чужая; и где-то рядом она всегда, за ближним пределом, ковырни в ребячьей дурости побелку – проступит неживым, глянет... В ней лишь сила, злобу людскую подпирающая,

накачивающая, а уж та сама... Уж мы сами, нас просить не надо... Не верил всем другим никогда, их блеску гнущему-выгнутому, обманному...”

“Глазами народа” — это замечательно, и не каждому талантливому писателю дано видеть жизнь “глазами народа”. Но народ-то больно разный у нас пошел нынче. И не только в городах больших, но и в деревеньках дальних-предальних. И Чикатило вышел прямоком из нашего с вами народа, не с луны свалился. Вот всю эту нынешнюю правду народную и о народе Петр Краснов пишет по-бунински беспощадно и в то же время со скрытой жадой света... Что видит вокруг себя в жизни народной, то и пишет. А видит-то он довольно много. Не чета близоруким либералам в очечках. Не чета идеалистам городским из почвеннических журналов. И если радости в его поздних повестях маловато, любви маловато, то, значит, и в самой действительности, окружающей его, полно черных красок. Разница между ним и, к примеру, каким-нибудь Дмитрием Быковым в том, что Дмитрий Быков народ чернит с удовольствием, презирая и отчуждаясь от него, а у Петра Краснова самые жуткие сцены из “Новомира” или “Колокольцев” написаны с болью и состраданием, с гневом за такое часто постыдное состояние народа. Впрочем, он и сам, в отличие от его осветляющих критиков, пишет о себе и своих замыслах всю правду: “И раньше так называемая “деревенская проза” не была у нас каким-то там “кантри”, тематико-стилистическим заповедником, а говорила, кричала о назревших проблемах и неладах общенародной, а не только одной деревенской жизни — и оказалась, к несчастью общему нашему, права. А тем более сейчас, когда “реформы”... превратили всю остатнюю, обкорнанную историческую Россию в одно необозримое “поле бедных” с непроходимыми бурьянами всяческого люмпенства... Если же говорить о сдвигах, то да, есть — в сторону окончательной, как кажется, деградации... И потому в тупик, в ступор какой уж год заходит жизнь в деревне, с повальным пьянством, с воровством друг у друга уже, со стремительным старением, выбыванием последней рабочей силы. Мое родное Ратчино — большое степное село, какому бы жить да жить, — выглядит сейчас куда хуже, чем тридцать лет назад... Вместе с деревней, колыбелью народной, мы теряем не кого или чего-нибудь — себя... Мы её неизбежно утратим, превратим в полубродячее, вконец деградированное квазинаселение...” Вот об этом квазинаселении, об этом деградированном люмпентстве пишет всё горше и горше в повестях и рассказах народный русский писатель Петр Краснов, но из последних сил, из последней боли своей выискивающий в людях последнюю надежду, последний “свет ниоткуда”.

Конечно, можно и мне прикинуться еще одним “ериком потайным” и написать о якобы самоотверженном герое Ереме из повести “Новомир”, который ринулся в огонь, спасая одного убогого и одного явно пропащего прохвоста. Можно вполне справедливо винить окружающий мир, никчемные власти и сделаться еще одним защитником и оправдателем беспробудного пьянства Еремы. Да вот только не понять, почему сам герой-то, не считаясь со своими книжными “оправдателями”, как бы добровольно и смерть себе предпочел. Сам-то герой, “нынешнюю жизнь за жизнь не считая”, ведет себя по отношению даже к соседям или к родной жене угрюмо и оскорбительно. Получается, что и не подвиг он совершал, спасая из огня никчемных, в общем-то, людишек, не из жалости к ним, таким же, как он сам, “нелюдям”. (Да и что хорошего дальше ждать тем же деревенским жителям от спасенного Еремой разбойного и лютого Киряя? Зарежет кого-нибудь, сожжет по дури и без жалости.) Потому что жизнь свою никчемную, или “нежить”, как выразился Максим, отдыхающий горожанин, наш герой Ерема не желал продолжать. Может, в этом и было настоящее геройство его. В отказе от своей “нежити”. И народ не поразился этим поступком Еремы, не из-за присущего ему благородства или героизма, а потому, что так и жил Ерема в постоянном неведении о добре и зле в жизни своей с тех пор, как потерял веру в себя. “И никто отчего-то не удивлялся, почему Ерема именно, а не кто иной пошел, ведь набежало и мужиков тут же, ну, пошел и пошел...” Вроде бы у мужиков и забот и хлопот хватает, а Ереме-то что жить, что “нежить” почти едино. Вот и решился за блажененького и разбойничка пострадать, за них как бы и смерть свою принять. Тем и перечеркнуть всю свою былую “нежить”. Сгорели в огне вместе с героем все его беды и пакости. Он как-то простодушно, без героизма всякого взял и “очистился”. И никто не знает, примут ли там на небе такое “очищение”.

Герои прозы Петра Краснова последних лет – это герои последней черты. “Нет, страшны где-то в глубине своей и страстны тайны жизни; и душно в мире, совсем уже сперто стало, как перед Божией грозой; и напрасно спрашивать, чем разразится она, разрешится в неразумии извечном людском, самоновейшим безумием уже ставшем. Только ждать осталось, надеяться – на нечто спасительное, некогда обетованное. Но, по грехам нашим, уже невозможное почти...”

Да и собачка откуда-то взялась герою под стать. Пройдошный этот песик Юрок. Никак он в герои не годится. Явный прохиндейский песик. “Ерема уж пробовал на пастьбу его брать... во-он до того проулка дошел с ним Юрок и под палисадник спать завалился – этак, знаешь, демонстративно. Тот и звал, и с кнутом к нему – куда там... Ему любую работу работать – как вору в законе... запахло, да. Ну, никудашный он. Никудашный, никак иначе его бабка Ная и не называла. Никчемный, ни двор постеречь, ни даже за ягодой-реписом, за грибами в лесопосадку сопровождать, чтоб хоть душа живая рядом. Пробовали не раз на цепь сажать – так за ночь душу вытьем вынет, а на приходящих ноль внимания, не гавкнет, голоса не подаст... Нет, нарочно не брехал, был уверен хозяин... Главное же, каким-то вот образом поставить себя во дворе прописки сумел: и никчемный, а вроде как свой, привычный, не выгонишь и шкуродеру не отдашь, да и на шкуру-то не годен... Головою ли, инстинктом, а умеют себя нахлебники поставить так, будто без них уж и не хватает чего-то, не обойтись. “При таком-то уме, – все не понимал приятель, <...> демократ-расстрига, – да я бы...” Ну, а что – ты? Что – мы все, умные-разумные такие, в диалектике понатасканные, в политэкономии – сызмала, а простейшей задачки на вычитание из кармана нашего и из души решить не можем? Где в нас, куда запропала сама наука жизни, а того более – честь наша, дух? Сами из страны барахолку спекулянтскую, бомжатник все-светный сотворили, сами не сказать, чтобы с радостью, – конечно, нет, – но с готовностью какой-то иррациональной опускаться стали, будто долго ждали того, всяк в свой разврат посильный кинулись, в одичаловку...”

Вот такие сначала подробности бытовые живописные, а затем обобщения чуть ли не мировоззренческие определяют всё красновское повествование. Он-то сам, писатель Петр Краснов, и себя самого также в “одичаловке” и в “нахлебничестве” обвинить готов. Его герои живут как все, а живут нынче все и в деревне нашей глубинной отнюдь не по нормам стародавней нравственности. Если нынче и “. . . земля не помнит, где овины стояли – там речушка в кустах путается...”

Вроде бы и деревенская у него проза, самая народная. Но какая-то деревня уже нынче не та, и народ иной пошел. Как-то в праведники, подобно Ивану Африкановичу из беловского “Привычного дела” или же Матрене из солженицынского рассказа, этих героев не отнесешь. Я бы согласился с мнением своего друга и коллеги Валентина Курбатова, который видит в прозе Петра Краснова горькое завершение слова о судьбе народной. “Он вернулся, потому что не мог переменить Господня замысла о себе, судьбы своей, того, что подлинно было написано на роду. Надо было кому-то досмотреть судьбу русской деревни и её сыновей до того зыбкого предела, перед которым поставит их своевольная история последнего времени. Он пришел, когда “деревенская проза” свое дивное, лучшее, святое, необходимое народной душе слово уже сказала... Петр легко нарушит здесь все законы устоявшихся жанров, чтобы только побольше уберечь из уходящего мира... Смирение и жестокость, православие и язычество смешаются в его деревне, как и в нем самом...” А другой критик Капитолина Кокшенева уже завершит курбатовскую мысль: “Петр Краснов – злой писатель...”

Дело писателя – замечать эту самую “такую жизнь” во всей её подлинности, но все-таки стараясь разглядеть реальный свет в “такой жизни”. И “злой писатель Петр Краснов” на самом деле находит в своей прозе свет, “свет ниоткуда”. Так и называется его чудный, классический, жесткий рассказ – “Свет ниоткуда”. Среди самой мертвящей действительности, давясь гнилью наших перестроечных лет, находит он не придуманный, реальный свет, который рождается в нас самих и не дает нам окончательно уйти во тьму.

Я бы поздние рассказы и повести Петра Краснова сравнил скорее с поздним же Виктором Астафьевым, разве что возраст иной, опыт иной, и вместо усталой злобы последнего мы видим еще живую рабочую злость реально-

го работника на земле. На мой взгляд, так глубоко, как Петр Краснов, в последнее десятилетие, пожалуй, никто в народную жизнь не всматривался. Хватало ярких внешних впечатлений. Зло так и лезло наружу во всем своем разнообразии и многоцветии – сама жизнь решила продемонстрировать наглядно свои раны и язвы одним, свои наряды и блёстки – другим. Чего копаться глубже, когда и так всё видно?

Впрочем, в публицистике у Петра Краснова тоже хватает этой прямоты внешних проявлений. Но, продемонстрировав своему читателю все причуды мирового зла, описав с отвращением полубродячую массу люмпенского населения, отбитый от крестьянской трудовой жизни задичавший межуемочный сброд, Петр Краснов уже не как публицист, а как тончайший художник в этих извивах нынешней бездны стал выискивать некую “удерживающую силу”. Ибо, как он уверен, суть любого талантливого художника не в разоблачениях и проклятиях, а в поисках своего художественного, а значит, и Божественно-противостояния этому злу.

И, на самом деле, не будь этой “удерживающей силы”, которую различить может лишь художник, мастер, творец, сопричастный Божескому началу, давно бы уж зло победило и земля прекратила свое существование. Добро по всем силовым характеристикам – слабее, и не столь воинственно, и всё же что-то и ломит, и останавливает силу зла. И чем пристальнее вглядывается в человека писатель, тем удивительнее находит он порой неизвестно в чем “удерживающую силу”.

Советую читателю повнимательнее отнестись к самой загадочной повести Петра Краснова “Колокольцы”. Пожалуй, эта вещь – из лучшей метафизической прозы XX века. Сравнивая легко с той же “Осиной фабрикой” англичанина Иена Бэнкса или же с латиноамериканской прозой Борхеса. Из нашей прозы последнего времени на ум приходит разве что “5/4 накануне тишины” Веры Галактионовой. Впрочем, Петр Краснов и Вера Галактионова, пожалуй, и выделяются из общего потока современной отечественной прозы. То, о чем судорожно мечтают абсолютно вторичные в своем подражании Западу Кабаковы и Аксеновы, легко и без натуги пишется отечественными первопроходцами психологического реализма.

Но, конечно, эта проза не для легкого поверхностного чтения. Да и агрессивности в её ассоциациях, её неприятии зла, её ненависти ко всему миру, явленной через видения главного героя “Колокольцев”, в повести с перебором, она вполне может оттолкнуть многих читателей. В старческом бреде перед героем повести проходит всё: и война, и раскулачивание, и немецкие, а затем советские послевоенные лагеря, и с каждым этапом жизни нарастает его зло и его ненависть. Без обожания на него смотрит сам писатель, но не возникает вопроса у читателя, откуда такая злость, откуда такое неприятие мира, такая ненависть ко всем окружающим. Жизнь и рождена.

Может быть, Иван Африканович у Василия Белова или же Иван Денисович у Александра Солженицына, прошедшие отнюдь не меньшие круги ада, сумели даже в своем всепрощении сохранить доброту по отношению к людям. Но все ли деревенские жители были праведниками и христианскими страдальцами? Явно герой повести “Колокольцы” не из таких праведников. Вот и становится ему: “Тяжко, это... как не жил”. Отсюда и ненависть к миру. Отсюда и обида на всех. “Ему тяжело и тревожно, как никогда... Не весна только, как ни тяжка бывает она порой старикам, и зависть к молодым этим, в литой хлябющей резине сапог ногам, которым всё пока нипочем, – нет, не только. Обидно было вот что; но что она значила, эта обида, и откуда она была, он понять уже не мог”. И с миром воевал всю жизнь, не прощая несправедливости, унижения и ломки. (Такие и поднимали крестьянские восстания, не способные терпеть.) И с Богом тоже воевал, но насмарку прошла и эта вражда. Ибо вдруг понял, что “...жизнь сама по себе бог, и с какой стороны ты ни яришь, ни войой, а всё против неё”. И его убивали, и сам он убивал, и не чужих даже, своих. Сбежавших с мобилизации. Да и как не убить было, тогда бы самого за срыв послали куда следует. Но только помнился ему Колгота этот, пристреленный, до самой смерти. Не отпустил. Немцев, финнов, еще кого – не помнил, забывал, а Колготу пристреленного помнил. И бред его жизни переполнял всю жизнь вокруг, реальный бред, барачный бред, тифозный бред сгущался до метафизического бреда. “Там мертвячья сгустилась нелюдская злоба, такой не могут знать люди и не должны, и он не знал никог-

да... Он затыкает, задыхается – а тьма, а злоба сквозь него уже ломит, колесами напруживаемая, и уж вот-вот прорвется, сомнет земные эти звуки, грубые донельзя, какие-то корявые все, кривые, и самих людей этих, ничего над собой не чуящих, захлестнет и разметет тоже, погубит души...”

Вместо обещанной дали – одна безысходность. Хуже того, жизнь суёт ему этот зловещий кулек – “Кулек полон тяжелой пустотой... И кулек этот странно тяжелит руку... Что-то темней, тяжелей пустоты там – пыль молчания, может быть, времени...”

И что с этой тяжелой пустотой делать? К браткам уйти – так их тоже уже нет. И нагана былого нет...

И жизни былой уже давно нет, а есть кровать, с которой доносится только стон умирающего старика: “Не согласен”. И бабы закрестились, кто покорно, а кто и враждебно. Ишь ты, и перед смертью, там уж, в том мире с кем-то воюет: “Не согласен”. И смотрят на почти покойника с осуждением.

Бредовая повесть, где всё перемешано, тьма своя и чужая, пирамиды египтянские, куда довели из итальянских концлагерей, и дознаватели, мирные и не очень, расстрелянный Колгота и горящие танки, изнасилованная в юности сестра и его путевое хозяйство.

Вся жизнь прошла насмарку, потому и с ненавистью смотрит старик на молодого соседа, которому даже помочь ему, злему старику – в охотку. Нет, не игрушки – жизнь наша, а прорва. И уходит в неё все, как в прорву. “Прорву? Ну да, прорву. И хотя сам как-то не понял, что бы она значила, эта прорва, он опять сразу согласился, даже головой себе потряс: прорву, да...”

При всей запутанности повествования, многослойности бреда реального и бреда запредельного, повесть “Колокольцы” в чем-то ключ к расшифровке красноградской прозы. Может, и хорошо, что её всерьез не прочитали наши записные критики. Явно не вписывается она ни в христианский, ни в реалистичный шаблоны. А так, вроде бы и пронесло нашего “эрика потайного”. Ибо и любое зло он описывает, дабы догадаться, какое же добро может в противовес ему исходить?

Думаю, пессимистом с некоторой долей добродушия его самого, Петра Краснова, сделала жизнь, сотворила писателя, кидая из одной стороны в другую. То заносит по молодости на вершины писательского признания и жизненного благополучия. То разбивая в пух и прах и благополучие, и признание. Конечно, степень пессимизма зависит и от того, с каким взглядом ты путешествуешь по жизни, с каким чувством ты всматриваешься в раны народные. Врачуешь или живописуешь? А то и наслаждаешься народной агонией?

Сегодня у нас в России такой тип художника, как Петр Краснов, стал крайне редок. Это народный живописатель. И потому он воинственно не моден. И эта его явно несправедливая немодность, вычеркнутость из ведущих литературных списков, как бы ни отрицал писатель, оптимизма в душу ему не добавляют.

Нанизывая уже ряд литературных сравнений, я бы сравнил прозу Петра Николаевича Краснова с прозой еще одного Петра Николаевича Краснова. И уверяю читателя, отнюдь не по созвучию фамилий. Схожая прямота суждений, схожая народность интонаций и характеров, схожий образный язык, схожая любовь к России и схожее несогласие с изменением народного быта. Схожая злость к врагам и при этом схожая внимательность к правде любого человека. Схожий консерватизм и нелюбовь к либералам. Оба – с казачьих земель. Один из уральских, яицких казаков, другой – из донских.

Не раз замечал, в разных местах земли и пишется по-разному, и герои выбираются разные. Может быть, не случайно я пишу эту статью о Петре Краснове на берегу Дона. И прямо в комнату мне заглядывает батюшка Дон. И Дон в этих воронежских местах удивительно похож на реку Урал, где мы не раз беседовали с Петром Красновым. О ком же мне и писать было здесь, в донских Лисках, как не о писателе с берегов Урала? И, естественно, вспоминаю прозу донского Петра Краснова, его двухтомник “От двуглавого орла до красного знамени”. Его чуть ли не первое в эмиграции признание величия шолоховского “Тихого Дона”. Жаль, прозу того первого Петра Николаевича Краснова до сих пор как следует не оценили, из-за его белогвардейщины и мрачной трагической кончины. И тем не менее мой друг Петр Краснов стал определенным продолжателем той прозы, которую писал генерал Краснов. Которого, кстати, тоже называли “злым писателем”.

...Я познакомился с Петром Красновым давным-давно, на седьмом совещании молодых писателей СССР, где мы оба были не только участниками, но и попали в лидеры. И с тех пор у меня хранится номер “Комсомольской правды”, где опубликована наша с ним общая фотография. Кстати, на том же совещании судьба меня свела с Женей Нефедовым, поселив даже в одном номере, и кто знал, что десятилетия спустя мы станем работать вместе в газетах “День” и “Завтра”, тогда же познакомился и с Иваном Ждановым, с Сашей Щупловым, Геннадием Красниковым, это был смотр литературных сил нашего поколения, и надо признать гораздо большую объективность отбора литературных чиновников тех лет, нежели нынешних. Первая книга Петра “Сашкино поле”, вышедшая в издательстве “Молодая гвардия” в 1980 году двухсоттысячным тиражом, была признана лучшей книгой среди всей молодой прозы страны. Потом выходили и в Москве, и в Оренбурге другие книги: “День тревоги”, “По причине души”, “Высокие жаворонки”, “Поденки ночи”. Его стали активно печатать московские журналы, прежде всего “Москва”.

Очень быстро мы определили общность многих наших позиций и потому уже тесно поддерживали связь и во времена московского периода бурной жизни Петра Краснова, и позже, когда из Оренбурга, как и из многих других городов России, на всевозможные писательские встречи, фестивали, дни литературы приезжали не только седовласые аксакалы, как ныне водится, но и тридцати-сорокалетние поэты, прозаики, критики, драматурги. Приезжал и я не один раз в Оренбург, когда Петр Краснов уже был там главой писательской организации. В те годы конца советской империи, как и в первые годы перестройки, у Петра Краснова регулярно выходили повести и рассказы в московских журналах: “Мост”, “Поденки ночи”, “Последний октябрь”, “Свет ниоткуда”... Рассказ “Мост” был включен в антологию “Шедевры русской литературы XX века”. В разгар наших гражданских баталий девяностых годов, как и многие другие, Петр Краснов окупился в публицистику, стал одним из ярких перьев патриотической оппозиции. И тут уже мы печатали его на страницах наших газет “День”, “Завтра” и “День литературы”.

Стали встречаться каждый год в Ясной Поляне, на ежегодных толстовских литературных встречах, которые организывает наш общий друг Владимир Толстой. Не так давно по моей рекомендации Петр получил премию Александра Невского “России верные сыны”. Конкурентов было много, но он и на самом деле был на голову как писатель сильнее всех других претендентов. Рад, что достойный ряд лауреатов, среди которых Валентин Распутин, Леонид Бородин, Юрий Поляков, Станислав Куняев, Владимир Личутин... был продолжен Петром Красновым. Рад, что закончился у него длительный период художественного молчания. (Об этом периоде художественного онемения наших прозаиков, как правых, так и левых, надо бы написать отдельную статью. Не было сил или не было желания? Валентин Распутин, Василий Белов, Анатолий Ким, Андрей Битов, Петр Краснов, Саша Соколов, Иван Жданов – все надолго замолчали, иные молчат до сих пор.) И от публицистики, как бы сильна она ни была, Краснов вернулся в прозу. Может быть, с горьким привкусом национального поражения и бессилия.

Его повести последних лет – “Звезда моя, вечерница”, “Пой, скворушка, пой!” и “Новомир” – может быть, лучшее из того, что им написано. Краснов пишет очень медленно, но очень верно. И всё время по восходящей. Пишет откровенно не для рынка, не жалея читателя, заставляя его думать и сопереживать, заставляя его погружаться в глубины человеческого сознания и в глубины русского языка.

И хоть живут его герои все в тех же оренбургских деревнях, но и деревни уже другие, и люди не те, а значит, в каждой повести новое открытие человека. Ищущего во тьме своей свет ниоткуда, свет из самой тьмы, свет, рождаемый жизнью!

Злой по отношению ко злу писатель Петр Краснов в этой борьбе находит опору в самом человеке. Ерик потайный, Петр Краснов никогда не сдаваться.

Лиски на Дону